

УДК 821.161.1

DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-18

Т.А. ПАХАРЕВА,
*доктор филологических наук,
профессор кафедры мировой литературы и теории литературы
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев)*

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ГЕРОЕВ КАК КРИТЕРИЙ ПОЛНОТЫ БЫТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

В статье рассматривается проблема ценностного статуса литературы в художественном мире романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В процессе анализа авторской речевой сферы и сферы героя в строфах, посвященных чтению Онегина, выявлено, что в ценностной системе пушкинского романа одним из критериев полноты и полноты бытия является способность активно пребывать не только в условно-жизненном, но и в литературном, «поэтическом» измерении, а в поэтике романа реализовано авторское видение мира литературы как универсума, являющегося источником ценностных эталонов и связанного с базовыми началами бытия – глубинными уровнями эроса и танатоса и сформированными уже на уровне социума сферами общественной активности и семьи.

Ключевые слова: художественный мир, герой, автор, целостность, онтологическая полнота, литературоцентричное сознание.

У статті розглянуто проблему ціннісного статусу літератури в художньому світі роману О.С. Пушкіна «Євгеній Онегін». У процесі аналізу авторської мовленнєвої сфери та сфери героя у строфах, присвячених читанню Онегіна, виявлено, що в ціннісній системі пушкінського роману одним з критеріїв істинності та повноти буття постає здатність активно перебувати не тільки в умовно-життєвому, а й в літературному «поетичному» вимірі, а в поетиці роману реалізовано авторське бачення світу літератури як універсуму, що є джерелом ціннісних еталонів та пов'язане з базисними первнями буття – глибинними рівнями еросу й танатосу та сформованими вже на рівні соціуму сферами суспільної активності та сім'ї.

Цілісне світосприйняття автора як літературоцентричної особистості протиставлене в романі світосприйняттю героя, позбавленому онтологічної повноти. Ця принципова різниця між героєм і автором яскраво простежується у тих фрагментах тексту, де їх точки зору чергуються в оповіді – наприклад, у XLIV строфі I глави («Тоді, в душевній порожнечі...» – переклад М. Рильського). Позиція героя тут сигналізує про відсутність в нього цілісного світосприйняття: він: он мучиться «порожнечєю», способом заповнити яку стає спроба «привласнити... чужий» інтелектуальний досвід. До того ж боротися з «душевною порожнечєю» герой намагається суто раціональним способом – привласнюючи «розум чужий». Саме тому його читацький досвід виявляє свою неспроможність і виливається у безплідний гіперкритицизм. Літературоцентрична позиція автора, через яку розкривається онтологічна повнота світосприйняття, проявлена у цій строфі через систему уподібнень книг базовим основам буття. Саме автор, а не герой, послідовно уподібнює книги: 1) військовому загону, образ якого актуалізує суспільно-історичний контекст («Загін книжок розставив гарно»); 2) жінкам, тим самим соприймаючи з ними любовно-еротичну сферу життя («Лишив він, як жіноцтво, книги»); 3) родині, яка представляє рівень кривно-родинних стосунків. Нарешті, у фіналі строфи в образі «траурної тафти» у зв'язку зі світом книг актуалізується ще й контекст смерті, без якого онтологічний горизонт книжкового світу був би неповним.

Ключові слова: художній світ, герой, автор, цілісність, онтологічна повнота, літературоцентрична свідомість.

Осложно организованной системе взаимоотношений между «жизнью» и «литературой», так же, как и об укорененности художественного мира «Евгения Онегина» в литературном контексте, написано уже так много, что любые наблю-

дения на эту тему неизбежно будут представлять собой рефлексии и по поводу пушкинского текста, и по поводу пушкиноведческого метатекста. В последнем давно укоренилась мысль о том, что и герои, и автор пушкинского романа в стихах постоянно выступают также и в ипостаси читателей, а литературный контент эпохи во многом влияет на их самоидентификацию, задает «коды» восприятия ими друг друга – так же, как и «коды» для моделирования автором оценочного ореола героев. В частности этому аспекту уделено много внимания в работах Ю.М. Лотмана о системе персонажей романа и о его художественной структуре [2; 3].

Выявление литературоцентричного принципа в основе художественного мира пушкинского романа в стихах путем установления максимально полного круга интертекстуальных связей «Евгения Онегина» составляет основу комментария к нему В. Набокова [4]. Отмеченные Набоковым множественные и многоуровневые отсылки к «чужому слову» в «Евгении Онегине» раскрывают насквозь литературную природу созданной в нем реальности, что придает внешне реалистичному миру пушкинского романа смысловую гипернасыщенность, семантическую многослойность (которая коррелирует с аналогичной многослойностью базовых уровней модели мира в этом романе – в частности, его темпоральной структурой, на что обращает внимание В. Фаритов [7]).

В целом можно констатировать, что пушкинистами уже доказано, что «ноосфера» пушкинского романа, в которой герои совершают путь самопознания и взаимопознания, соотнося себя с «книжными» образцами, представляет собой многоступенчатое построение (естественно, являющееся проекцией авторского сознания), а разноуровневые связи героев друг с другом и автора с каждым из них, так же, как и способы моделирования образа самого автора и его нарративных стратегий, осуществляются с помощью литературных кодов.

С учетом всего вышесказанного, можно так сформулировать исходный тезис, от которого будем отталкиваться в дальнейших наблюдениях: в ценностной системе пушкинского романа одним из критериев подлинности и полноты бытия является способность героев активно пребывать не только в условно-жизненном (условно – поскольку это, разумеется, смоделированная автором-творцом жизненность), но и в литературном, «книжном» измерении, а в поэтике романа реализовано авторское видение мира литературы как универсума, являющегося источником ценностных эталонов и связанного с базовыми началами бытия. То есть литература выступает не только генератором идентифицирующих моделей, соответствие которым выявляет изменения в ценностных ориентирах автора и героев, как показывает Ю.М. Лотман, и формирует мир романа по аналогии с вечно «неготовым», противоречивым и подвижным реальным миром [2]. Восприимчивость к литературе демонстрирует также и причастность к больше чем реальному миру – причастность к тому целостному бытию, которое выстраивается в эстетическом пространстве и соединяет в себе, по выражению М.М. Гиршмана, «преходящий миг и нетленный мир» [1, с. 35].

Носителем такого универсально-целостного мировосприятия, разумеется, выступает в романе Пушкина автор, и именно в авторской «речевой зоне» (если воспользоваться терминологией М.М. Бахтина) обнаруживается взгляд на литературу как на средоточие бытийственной целостности – в отличие от точки зрения главного героя, для которого этот выход к полноте бытия через литературу закрыт. Именно в этой области пролегает та самая принципиальная «разность / Между Онегиным и мной», которую так любит подчеркнуть автор.

Автор в пушкинском романе постоянно апеллирует к литературным аналогиям с жизнью, поверяя жизнь литературой – в отличие от героя. Так, сугубо жизненный талант соблазителя, которым наделен Онегин, автор ассоциирует с «Наукой любви» Овидия («наукой страсти нежной, / Которую воспел Назон» [5, т. 4, с. 14]). Или, к примеру, мир театра для автора обретает ценность, прежде всего, благодаря литературе, благодаря тем драматургическим шедеврам и их авторам («Фонвизин, друг свободы», «переимчивый Княжнин», Озеров, Катенин), которые «в стары годы» наполнили этот театральный мир смыслом и ценностью. Для Онегина же театр – это сугубо жизненное пространство, в которое люди приходят, что называется, на других посмотреть и себя показать. Так же и путешествия, познание других стран и культур для автора обретают ценность как возможность

приобщения к миру любимых поэтов, воспринимаемому как «свой» (мечтая об Италии, он грезит обрести «язык Петрарки и любви», а «волшебный глас» волн Адриатики для автора «родной», поскольку «по гордой лире Альбиона / Он... знаком» [5, т. 4, с. 30]), тогда как для Онегина путешествие – это просто возможность «увидеть чуждые страны». «Чуждыми» они и являются для героя именно потому, что ему недоступно то бытийственное измерение, которое сформировано литературой как единый универсум, первичный и определяющий собою реальность для литературоцентричного сознания. Поэтому для носителя такого сознания даже те страны, в которых он не бывал, или эпохи, которых он не застал, не воспринимаются как «чуждые» – они уже «обжиты» им в литературном измерении. В этой способности к переживанию бытийственной полноты, которая присуща литературоцентричной личности, можно увидеть и исток пушкинского знаменитого «протеизма», его «всемирной отзывчивости». Не обладая литературоцентричным сознанием, Онегин, в отличие от автора, остается «чуждым» всему, что находится за тесными рамками его житейского опыта. Даже вступая в прямой диалог с литературой, выступая в роли активного читателя, душа которого «себя невольно выражает» в реакциях на читаемые тексты («то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком» [5, т. 4, с. 140]), Онегин остается в сугубо житейском измерении, где он предстает по отношению к литературному миру – в частности в глазах Татьяны – как «подражанье, / Ничтожный призрак», «пародия», «чужих причуд истолкованье» [5, т. 4, с. 141].

Но ярче всего различие между героем и автором именно как различие в их способности к творческому, целостному мироощущению, раскрывается в строфах, где точки зрения и, соответственно, «голоса» героя и автора соседствуют. В качестве показательного примера рассмотрим строфу XLIV первой главы:

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он – с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой [5, т. 4, с. 27].

Начало строфы, содержащее определения состояния героя, погруженного в «сплин», уже сигнализирует об отсутствии у него целостного мировосприятия: он томится «пустотой», способом заполнить которую становится попытка «присвоить... чужой» интеллектуальный опыт. Заметим, что определение «чужой» в контексте взаимодействия героя с универсумом литературы, так же, как и в строках о «чуждых странах», «чужих причудах», об уважении «вчуже» к чувствам и ценностным позициям поэтически воспринимающего мир Ленского, не выглядит случайным.

Отсутствие целостного мироощущения, отчуждающее героя от бытийственного измерения литературы, проявляется также и в дисгармонии между различными составляющими его личности: он томится **душевной** пустотой, но пытается бороться с ней сугубо **рассудочным** способом – «себе присвоить **ум** чужой». В определении этой цели героя как «похвальной» уже слышна авторская ирония («уселся он с похвальной целью»), и сигнализирует эта ирония именно о неполноте мировосприятия героя, проявляющейся в его способности выйти через опыт чтения к тому самому катарсическому состоянию полноты переживания жизни, которое выходит за пределы только рациональной или только эмоциональной сфер и, уж конечно, не «достигается упражнением», описанным в начале строфы.

Именно поэтому нет никаких сомнений в том, что поверхностно-рационалистическое чтение Онегина не увенчается успехом, пройдет «без толку». Дело не в несостоятельности тех книг, которыми Онегин «установил полку», а в его читательской несостоятельности (в отличие, например, от любимицы автора Татьяны, которая в книгах «ищет и находит / Свой тайный жар, свои мечты, / Плоды сердечной **полноты**» [5, т. 4, с. 58]). Поэтому дерзнем предположить, что все же не от имени автора, сводящего счеты с современной литературой, как полагал В. Набоков, а именно от имени героя дальше, после двоеточия, в строфе разворачивается уничтожающая критика читаемых Онегиным книг. Не автор, а герой разочаровывается в этом чтении, обнаруживая в книгах только «скуку, ... обман иль бред», отсутствие или совести, или смысла и банальность устаревших, но вечно перелицовываемых истин.

Можно предположить, что в этой строфе точка зрения автора после двоеточия сменяется точкой зрения героя, а автор возвращается в текст только в последних трех строках («Как женщин, он оставил книги», и далее до конца строфы). И в авторской «зоне» этой строфы проявляется совсем иной подход к книгам – подход, свидетельствующий, что для автора литература – это не только набор неких суждений, подлежащих критическому осмыслению, но, в первую очередь, всеобъемлющий универсум. Пушкин заканчивает свой роман сравнением жизни с книгой («Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел ее романа» [5, т. 4, с. 178]), а в анализируемой строфе 1 главы в зеркальной логике мир литературы предстает средоточием самой жизни во всех ее сущностных характеристиках. И этот авторский взгляд на литературу транслируется не прямо, а через систему сравнений, представляющих собой один из тех перечислительных рядов, которые не позволяют забыть, что «Евгений Онегин» – это, действительно, «энциклопедия», в которой разноприродные и относящиеся к разным уровням действительности явления упорядочены и «каталогизированы».

Итак, первым по порядку идет уподобление книг «отряду», актуализирующее общественно-«деятельную», преимущественно военную сферу жизни (в переносном смысле слово «отряд», по сведениям, приведенным в «Словаре языка А. С. Пушкина» [6, с. 252], встречается в пушкинских текстах единственный раз – в анализируемой строфе, во всех же остальных случаях оно употребляется в своем прямом значении воинского подразделения; таким образом, очевидно, что и в «Евгении Онегине» словом «отряд» символически представлена именно милитарная сторона жизни). Далее книги сравниваются с женщинами, причем, не «вообще», а в контексте любовной сферы (поскольку до этого речь шла о том, как Онегин оставил все свои любовные похождения и отдалился от женщин): «Как женщин, он оставил книги». Потом сфера любви-страсти сменяется сферой семьи: «... полку с пыльной их семьей...». А вполне логично этот ряд охватывающих основные сферы жизни метафор и сравнений завершается напоминанием о смерти, метонимически представленной «траурной тафтой», которой задергивается весь этот книжный мир. И здесь возникает двунаправленное истолкование: во-первых, – в направлении характеристик литературного универсума. И тогда образ траурной тафты – это **«memento mori», завершающее** характеристику книжного универсума как такого, в котором коренятся самые глубокие основы бытия – эрос, уже ранее актуализированный сравнением книг с женщинами, и танатос. А во-вторых, смысл образа траурной тафты направлен на героя и на его восприятие книг (ведь жест задергивания книжной полки «траурной тафтой» – это красноречивое «высказывание» Онегина) – и тогда это некая окончательно разделительная черта между героем и книжным универсумом, которая сигнализирует о том, что этот универсум для героя «мертв», то есть недоступен его восприятию, лишенному онтологической полноты.

Таким образом, мир литературы с точки зрения автора, проявленной в XLIV строфе 1 главы через систему сравнений, вбирает в себя и глубинные начала эроса и танатоса, и сформированные уже на уровне социума сферы общественной активности и семьи. Это сама жизнь в ее полноте и одновременности присутствия в ней всех определяющих начал. А с рационально-ограниченной точки зрения героя, это лишь мертвое множество слов, в которых всегда чего-то не хватает.

Симптоматично, что в 8 главе романа автор дает герою второй шанс прийти к полноте бытия, выйдя из сугубо эмпирического измерения, – в момент, когда Онегин пребывает

на пике переживания своей любви к Татьяне. Именно тогда «стал вновь читать он без разбора... / Не отвергая ничего» [5, т. 4, с. 171]. На смену гиперкритичности, сопровождавшей первую онегинскую попытку выйти из душевного кризиса с помощью чтения, теперь приходит всепринятие, однако в его основе лежит все та же отчужденность героя от целостного бытия, воплощенного в художественной целостности литературного универсума: «...глаза его читали, / Но мысли были далеко» [5, т. 4, с. 171].

Казалось бы, теперь Онегин уже не томится «душевной пустотой» – наоборот, его душа переполнена: «Мечты, желанья, печали / Теснились в душу глубоко». Но эта «теснота» не тождественна бытийственной полноте, это перенасыщенность накопившимися в душе травмирующими и мучительными впечатлениями – подобным образом, например, «теснится тяжких дум избыток» в «уме, подавленном тоской», героя стихотворения «Воспоминание», написанном за год до 8 главы «Евгений Онегина». Как и перед героем «Воспоминания», перед Онегиным разворачивается ряд картин прошлого, предстающих, правда, не как «длинный... свиток», но в аналогичной по смыслу метафоре – как «пестрый... фараон». И сами эти картины в «Воспоминании» и в XXXVII строфе 8 главы «Евгения Онегина» во многом подобны. Герою стихотворения вспоминаются «друзей предательский привет», «жужжанье клеветы, / Решенья глупости лукавой, / И шепот зависти, и легкой суеты / Укор веселый и кровавый» [5, т. 2, с. 701]. В воображении Онегина возникают, практически, те же картины:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных... [5, т. 4, с. 173].

И, как и герою «Воспоминания», Онегину тоже являются в его видениях «две тени милые» – убитого друга и мечтательной сельской девушки, которая теперь, как кажется Онегину, исчезла, превратившись в окруженную «крещенским холодом» княгиню.

Но, как и в случае с автором романа, с героем «Воспоминания» Онегин тоже сразу демонстрирует принципиальную «разность». Героя стихотворения то, что разворачивает перед ним память, лишает покоя, погружая в «часы томительного бденья» наедине с совестью, когда «мечты кипят. В уме, подавленном тоской, / Теснится тяжких дум избыток» [5, т. 2, с. 206]. Онегин же, оказавшись в такой же ситуации, наоборот, «в усыпление / И чувств, и дум впадает» [5, т. 4, с. 173]. Впрочем, это «усыпление» еще мучительнее, чем «томительное бденье», поскольку не приводит к катарсическому итогу: если герой стихотворения в финале приходит к очищению и приятию своей жизни, причем, что характерно для литературоцентричной личности, представляет эту жизнь как книгу («И горько жалуюсь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю» [5, т. 2, с. 206]), то Онегин лишь теряет «в этом», ничего особенно не переосмысливая, а лишь претерпевая свое состояние, пока наступившая весна не возвращает его к жизни.

Итак, читая книги теперь, герой пушкинского романа в стихах, как и герой стихотворения «Воспоминание», на самом деле читает «жизнь свою», и в этот момент максимально приближается к автору:

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один... [5, т. 4, с. 172].

И тем не менее Онегин «не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума» [5, т. 4, с. 173], лишь приблизившись «силой магнетизма» к литературному универсуму, но так и не войдя в него. Очередной перечислительный ряд, выстроенный Пушкиным в процитированных строках, исчерпывающе объясняет, почему герой не мог бы осуществиться как личность, причастная целостному бытию, открывающемуся в поэтическом мире: для него такая внутренняя перемена настолько неорганична, что равнозначна сумасшествию или даже смерти. Именно поэтому он «теряется» («он так привык теряться в этом») там, где литературоцентричная личность должна была бы «найтись», - в пространстве, которое наполняют мечты, желания, печали»,

тайные преданья
Глубокой, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой [5, т. 4, с. 171–172].

Конечно, процитированный ранее ряд («не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума») буквально представляет перечень наиболее типичных «осложнений», сопровождающих несчастливые любовные переживания и угрожавших герою, но в самой синтаксической конструкции перечисления однородных сказуемых между ними продуцируются синонимичные отношения, и на этом уровне поэтического синтаксиса возникает знак если не равенства, то подобия для Онегина перспектив сделаться поэтом, умереть и сойти с ума.

Итак, кажется, герой был даже честнее в своем первом объяснении с Татьяной, чем сам предполагал: возможность целостного бытия, открытая для творческих, живущих не только в бытовом измерении натур, закрыта для него, и в этом смысле он, действительно, «не создан для блаженства».

Список использованных источников

1. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности / М.М. Гиршман. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 528 с.
2. Лотман Ю.М. Художественная структура «Евгения Онегина» / Ю.М. Лотман // Труды по русской и славянской филологии. IX: Литературоведение. Ученые записки Тартуского государственного университета. – 1966. – Вып. 184. – С. 5–32.
3. Лотман Ю.М. Пушкин / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство – СПб, 1999. – 847 с.
4. Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» / В.В. Набоков. – СПб.: Искусство – СПб; Набоковский фонд, 1998. – 927 с.
5. Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин // **Собрание сочинений: в 10 т. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959–1962. – Т. 4: Евгений Онегин. Драматические произведения. – 598 с.**
6. Словарь языка А.С. Пушкина: в 4 т. / под ред. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2000. – Т. 3 (О–Р). – 1282 с.
7. Фаритов В.Т. Философия времени в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2017. – № 47. – С. 171–183.

CHARACTERS' READER EXPERIENCE AS A CRITERIA OF LIFE COMPLETENESS IN THE CREATIVE WORLD OF A "EUGENE ONEGIN"

Tatyana A. Pakhareva, National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine).

E-mail: paharevata@ukr.net

DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-18

Key words: *a creative world, a character, an author, completeness, ontological fullness, literature-centric mind.*

In the article we review a problem of a literature value status in the creative world of an A. Pushkin novel "Eugene Onegin". While analyzing the spheres of both an author's and main character's speech in the verses dedicated to the Onegin's reading, we discovered that an ability to actively exist in both conventionally vital and literature spaces is one of the main criteria of life authenticity and fullness in the novel's value system. Moreover, an author's vision of a literature world is reflected in the novel's poetics. To our mind, author sees the literature world as a universum which is a source of the value benchmarks and is connected with the life basics – the deepest levels of Eros and Thanatos as well as spheres of public activities and family formed on the social level.

The author's holistic worldview as a literature-centered person is contrasted in the novel to the hero's worldview devoid of ontological fullness. This fundamental difference between the hero and the author is clearly seen in those fragments of the text where their points of view are side by side in the narration – for example, in Chapter XLIV, Chapter I ("And once again to idleness consigned..." (hereinafter "Eugene Onegin" translation by V. Nabokov is used)). The position of the hero here signals that he does not have a complete world view: he languishes in "emptiness", and an attempt to grab someone else's intellectual experience is a way to fill it, while the hero tries to deal with spiritual emptiness in a purely rational way – appropriating "someone else's mind". That is why his reading experience turns out to be untenable and results in fruitless hypercriticism. The literary-centric position of the author, through which the ontological completeness of world perception is revealed, is manifested in this stanza in the system of likening books to the basic foundations of being. It is the author, not the hero, who consistently likens the books to: 1) a military detachment, the image of which actualizes the socio-historical context ("He crammed a shelf with an array of books" ("otriad" in original text means "squad", "brigade"; in Nabokov's translation this meaning is lost)); 2) to women, thereby mating with them a loving-erotic sphere of life ("As he'd left women, he left books"); 3) family, representing the level of blood-relationship ("with its dusty tribe the shelf"). Finally, in the last stanzas in the image of the "funerary taffeta" in connection with the world of books, the context of death is also actualized, without which the ontological horizon of the book world would be incomplete.

Thus, the world of literature from the point of view of the author, manifested in the analyzed stanza through a system of comparisons, is life itself in its entirety and simultaneity of the presence of all defining principles in it. And from the rationally limited point of view of the hero, this is just a dead set of words in which something is always missing.

The opposition of the author and the hero according to the criterion of the ontological completeness of the world perception and the connection of this completeness with their reading experience is traced throughout the text of the novel. From this point of view, the article, in particular, analyzes fragment VIII of the chapter, in which Onegin again tries to get out of the mental crisis with the help of reading. The context of not only the novel, but also the lyrics of Pushkin, is drawn to the analysis of this fragment. The difference between the ideological positions of the hero and the author appears especially vividly when comparing the overlapping fragments of this stanza and the poem "Remembrance" ("When, for the mortal one, is stilled the noisy day..." (transl. by Yevgeny Bonver)).

References

1. Hirshman, M.M. *Literaturnoje proizvedenije: Teorija khudozhestvennoy tselostnosti* [Literary work: Theory of the artistic integrity]. Moscow, Languages of Russian Culture Publ., 2002, 528 p.
2. Lotman, Y.M. *Khudozhestvennaja struktura "Yevgenija Onegina"* [Artistic structure of "Eugene Onegin"]. *Trudy po russkoy i slavjanskoy filologii. IX: Literaturovedenije (Uchenyje zapiski Tartuskogo universiteta)* [Works on Russian and Slavic Philology. IX: Literary studies (Scholarly notes of the University of Tartu)], 1966, vol. 184, pp. 5-32.
3. Lotman, Y.M. *Pushkin* [Pushkin]. Saint-Petersburg, Iskusstvo-SPb Publ., 1999, 847 p.
4. Nabokov, V.V. *Kommentariy k romanu A.S. Pushkina "Yevgenij Onegin"* [Commentary on Pushkin's novel "Eugene Onegin"]. Saint-Petersburg, Iskusstvo-SPb, Nabokov's found Publ., 1998, 927 p.
5. Pushkin, A.S. *Yevgenij Onegin* [Eugene Onegin]. *Sobranije sochineniy: v 10 tomah* [Collected Works: in 10 volumes]. Moscow, State publishing house of fiction, 1959-1962, vol. 4, 598 p.
6. Vinogradov, V.V. (ed.) *Slovar jazyka A.S. Pushkina: v 4 tomah* [Pushkin's Language Dictionary: in 4 volumes]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2000, vol. 3, 1282 p.
7. Faritov, V.T. *Filosofiya vremeni v romane A.S. Pushkina "Yevgenij Onegin"* [Philosophy of time in A.S. Pushkin's novel "Eugene Onegin"]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija* [Tomsk State University Journal of Philology], 2017, no. 47, pp. 171-183.

Одержано 4.03.2019.